



Яков Руппа

Родился в Крыму. Врач-ревматолог. В Израиле с 1994 года. Публикуется в израильской прессе, автор книги пародий «Литературный пиджак», соавтор пяти поэтических сборников и двух антологий. Победитель и призёр литературных конкурсов. Член АРСИ.

Привет из прошлого

Деревянная птица

На волосах давно уж не пороша,
а белый снег,
накопленный за жизнь...
И я опять пишу стихи о прошлом,
мне без него никак не обойтись.
Я забываю, что читал сегодня,
и даже то, что делал час назад,

но чётко помню вечер новогодний,
себя, моложе лет на шестьдесят.

Войну я помню, как она сурово
поубивала пол моей родни.
И на бумагу вновь ложится слово.
Я вспоминаю прожитые дни...

Ещё стояли доты, точно схроны.
Они теперь для детских игр важны,
их немцы строили для обороны,
теперь ломают – больше не нужны.

В своих шинелях пакостного цвета
толпище многоногое брело.
Здесь под конвоем
с самого рассвета
они таскали камни тяжело.

Мальчишкам это редкая забава –
живого немца разглядеть в упор,
мы крыли их налево и направо,
выплёскивая ярость под забор.

Но были и умельцы среди пленных.
К себе привлечь пытаюсь детвору,
они свистульки делали отменно,
меняя их на хлеб и на махру.

И вот однажды, надо же случиться,
я там стоял, и вдруг, почти во сне,
костлявый немец
протянул мне птицу,
почти живую – показалось мне.

Она раскрыла щепочные крылья,
раскрыла хвост из щепочек резных,

не крашена, обсыпанная пылью –
красивее не видел я иных.

Домой я сбегал, благо жили рядом,
и полбуханки хлеба притащил,
сначала думал: может быть, не надо,
но отказаться – было выше сил.

Я птицу нёс домой, дыша неровно,
я нёс её, как знамя, как скрижаль.
...Куда потом девалась, я не помню.
Мне до сих пор потерянную жаль...

Город из фильма

Он остался в душе,
этот маленький город вчерашний,
вряд ли в нём побывать
мне когда-то ещё суждено,
но сегодня увидел я вновь
Генуэзскую башню,
не живую, конечно, -
там рядом снималось кино.

По экрану скользили
знакомые мне переулки,
тротуары мои
со следами моими на них,
воду пьющий из моря
мысок по названию Чумка –
там когда-то давно
хоронили умерших чумных.

Узнаваема площадь
с простым силуэтом вокзала,
здесь, напротив – дома
(на экране они не видны),

где-то в детстве моём
здесь гостиница рядом стояла,
что отец восстанавливал
сразу же после войны.

И ещё рядом с ней
столь знакомая библиотека,
в ней часы за окном –
видно их, если мимо идти...
Я на них и смотрел,
возвращаясь с друзьями
с проспекта,
мне с прогулки вернуться домой –
не поздней десяти...

Эту площадь в развалинах,
город, практически мёртвый,
я увидел тогда
не по-крымски холодной зимой
в том далёком мучительно
памятном сорок четвёртом,
это так называлось тогда:
мы вернулись домой.

Нас устроили жить:
пара комнат,
а в них – два семейства,
окон нет в первой комнате,
только – на улицу дверь...
Прежний дом наш стоял
на тогда ещё Красноармейской,
он был цел-невредим,
но другие там жили теперь.

В новой жизни был ров Генуэзский
под старой стеною,
ели мы кукурузную кашу,
а в праздник – лапшу...

Я тогда так болел,
да и время-то было больное,
я когда-нибудь, позже,
об этом ещё напишу.

Я смотрю на экран,
разорвавшись на две половины,
я во времени том
по развалкам брожу и курю...
Я стихи напишу,
я писать не умею картины,
только вот не сейчас...
Не мешайте,
я фильм досмотрю...

По телевизору показывают фильм...

Шёл довоенный фильм, волнуя мысли,
пел Лемешев из тех времён былых...
Шёл очень старый фильм,
я вдруг осмыслил,
что на экране – кладбище живых.

На плёнке – да, они покуда живы,
а через год в их жизнь придёт война,
и всё, что было
для людей счастливым,
всё похоронит чёрная она.

Да и потом – одни смурные годы...
Не все их пережили. Не смогли.
Не радовала солнышком погода
живущих на одной шестой Земли.

Их нет давно,
а фильм опять в прокате,

но молодёжь не смотрит – скукота:
какие-то немыслимые платья,
и музыка какая-то не та,

и вообще, что это там за люди –
лет семьдесят, поди, уже прошло...
Эх, молодость, ценители и судьи,
дай Бог,
чтоб вам побольше повезло!

Кусочек из позавчера

*70-летию
начала Великой Отечественной*

Сирена воеет, вспарывая душу,
как очень-очень много лет назад.
Тогда в боях на Волге и на суше
стоял непоколебимо Сталинград.

А где-то там,
расхристанный и старый,
забившийся в приволжский уголок,
стоял на деревянных тротуарах
такой же деревянный городок.

Патриархальный
и провинциальный,
готовый что-то старое беречь –
свой быт неторопливый,
не скандальный,
и волжскую особенную речь...

Там дождь стучит
по деревянным крышам
и шалый ветер по двору кружит,
где, может быть,
впервые, я услышал
словечко омерзительное – жид,

и где соседка, сединой белея,
шепнула мне, присевшему у ног:
- Мы, сионисты, значит, за евреев.
Ты в Палестине будешь жить, сынок!

Она давала хлеб с горчицей брату
(голодное настигло забытьё)...
Как мог я знать, что сбудется когда-то
такое предсказание её!

...А за окном глухая канонада
и всполохи терзали темноту,
тогда суровый голос Сталинграда
летел сквозь широту и долготу.

Там градом с неба сыпались осколки,
когда зенитки лаяли навзрыд...
Зазубренный и острый, как иголка, –
таким случайным я мог быть убит.

Упал у ног, горячий... С дрожью в теле
я взял его, пригнувшись у стены,
в мешочек сунул, что для этой цели
всегда с собой носили пацаны.

Мы все, мальчишки, были так не робки,
охота за осколками – игра.
...Я много лет хранил его в коробке –
кусочек смерти из позавчера.

...Сменилось время, и страна другая...
Казалось, надо бы не вспоминать,
да вот соседи все напоминают:
- Опять сирена... Слышите, опять...



Эхо времени

70-летию Бабьего Яра

Когда-то здесь старый был ров
и расстреляны люди.
Здесь камень лежит,
чтобы их не забыла страна,
но, кроме имён,
их теперь в этом мире не будет,
на камне-граните
написаны их имена.

Старушка безмолвно стояла
у этого камня,
и то ли в мозгу,
то ль в ушах шелестели слова:
- Мне страшно, мне страшно,
мне страшно,
ты спрячь меня, мама...
- Не бойся, не бойся, не бойся,
ты будешь жива...

И где-то слышны
то ль цикады, а то ль пулемёты,
а может быть, ветер –
шуршит под ногами трава...
Очнулась старушка.
Всё возраст. Мерещится что-то...
И снова ей мама шептала:
- Ты будешь жива...

Огненные имена

Там, в глубокой истории,
еле доступной для взгляда,
враг пытался народу
согнуть позвоночник в дугу,

но от собственных рук
непокорной погибла Масада,
там себя убивали евреи,
не сдавшись врагу.

Видишь, камни лежат,
словно кости еврейского рода,
пусть проходят века –
из камней излучается свет.
И развалины эти –
как памятник чести народа,
только списка ушедших имён
на развалинах нет.
Всё идёт по спирали.
Истории, видимо, надо,
чтобы память об этом
подольше осталась живой.
Посреди Белоруссии
вновь повторилась Масада.
Это в Мозыре было,
в разгаре Второй Мировой...

К сердцу рвались фашисты,
от ярости лютой зверея,
но, храня свою честь
и не сдавшись проклятому злу,
там от собственных рук,
как костры, полыхали евреи,
оставляя врагу только пепел,
свой дым и золу...
...Посреди Белоруссии
камень лежит как стенанье,
в Белоруссии много таких,
уж такая страна.
Только этот особый,
над ним не стоит изваянье,
и на нём не написаны
огненные имена.

Девочка из «Дельфинария» 10-летию теракта в «Дельфинарии»

Она осталась в маме и в родне,
к друзьям приходит в мыслях
пообщаться,
теперь она всегда живёт в том дне,
где ей пятнадцать,
навсегда пятнадцать.

В том дне был миг,
а в нём была беда,
а что ещё там было –
в том вопрос ли?
Замкнув чужою волей провода,
рвануло время вкось
на «до» и «после».

И в этом «после» -
многих нет в живых,
а там, где «до» -
ещё никто не ранен,
а между «до» и «после» - этот миг
и все они, кого вот-вот не станет.

Внезапно в вечность
распахнув окно,
нам всем остался
этот миг в наследство,
и с этим мигом жить нам суждено,
и никуда от этого не деться...

Ветер Прииссыккулья

Ущелье Боом, поворот на Рыбачье,
и, словно джигит и горлан,

на этой дороге, как всадник удачи,
рождается ветер-улан.

Его табуны здесь пасутся у речки,
не вставить им в рот удила,
он сам – на коне под узорной уздечкой,
а дикий скакун – без седла.

Улан поднимает песок и щебёнку,
коня он нагайкой сечёт...
Прогулки с уланом опасны ребёнку,
а взрослые – это не в счёт.

Идут, подставляя охальнику спину,
идут, потому что дела,
в Рыбачьем нередко такая картина
и раньше, я помню, была.

Улан громогласен, не может иначе,
услышаться хочешь – кричи!
Так было и будет, пусть даже Рыбачье
зовётся теперь Балычки...

Уляжется пыль, и развяжутся пути,
готов к бешбармаку баран.
Промчатся недели, часы и минуты,
и новый родится улан...

Первый урок киргизского

Пассажирский вагон
в середине двадцатого века...
Мы, качаясь, сидим
поездным колебаниям в такт.
Ощуцаю себя
повзрослевшим таким человеком,

нас Киргизия ждёт,
мы врачи – совершившийся факт.

А недавний солдат,
поспешающий к маме и к дому,
сквозь киргизский акцент
подбирая по-русски слова,
тихо учит с улыбкой
мою однокурсницу Тому,
как спросить по-киргизски,
допустим, «болит голова».

А потом он пропел нам
какой-то мотив необычный,
и Тамара пыталась запомнить
чужой говорок,
и запела сама
(ну, не зря же училась отлично),
повторив слово в слово
свой первый киргизский урок.

И вагон затрясло,
хотели соседи-киргизы,
хотели и прочие,
ну, а солдат был таков...
И сказала киргизка,
взглянув понимающе снизу:
- Ты не пой эту песню,
там просто набор матерков...

Медузное вече

Я не знаю, каким
закреплённые прочным союзом,
по единой команде,
которую где-то дадут,

валом валят к Израилю
каждое лето медузы,
наподобие рыб,
что на нерест по рекам идут.

Что их тянет сюда,
где здесь спрятан объект притяженья?
Может, в здешней воде
есть планктон, что так нежен и юн?
Может быть, у медуз
есть особый рефлекс направленья,
если в море купается
красный от зноя июнь?

Но народ всё равно
не уходит с заполненных пляжей.
Что народу медузы,
когда наступила жара?
Ну, чуть-чуть обожгут,
ну, спасатели уксусом смажут,
это всё не проблема,
какая-то даже игра...

А медузы в воде
в ореоле стрекательных нитей,
словно в танце, плывут,
их легко обтекает вода...
Несущественно, в общем,
такое просто событие,
ну, медузы пришли,
ну, уйдут неизвестно куда...

Но известно уже,
будет снова назначена встреча,
где-то колокол даст
свой беззвучный, но мощный сигнал.
Через год соберётся опять
на медузное вече

весь медузный народ...
Значит, надо,
ведь кто-то позвал...

Карлик

Лет, наверно, пятнадцать назад
и горшочек был крошка,
да и деревце – только чуть-чуть –
спичка и веерок...
нам его подарили,
сказали, что крошка – япошка,
не держать у окна,
чтоб обидеть не смог ветерок.

Это карлик, - сказали, -
такой уж он декоративный,
чтобы глаз отдыхал,
у него необычна листва,
он не будет цвести,
и растёт он совсем неактивно,
ну, совсем по чуть-чуть,
в общем, в год –
сантиметр или два...

Словом, комнатный он...
А потом покатались недели,
карлик точно не цвёл,
а вот с ростом-то – наоборот.
Мы теперь каждый день
на него с любопытством глядели:
что за карлик такой? –
Удивительно быстро растёт...

Заменяли горшок мы
малышке-японцу в угоду,
только деревцу тесно

в упор меж корнями и дном,
и тогда мы решили
его отпустить на свободу,
в грунт его посадили
у нас во дворе под окном.

Мы его поливали водой
и питательной жижей,
а за ним наблюдать –
это, всё-таки, радость была...
Пацаны ему ветки ломали,
а он таки выжил,
потихонечку креп
и толстел у подножья ствола.

Знать, японец решил,
раз свобода – к чему мелочиться,
он стремился всё выше и выше,
воспитанник наш.
...Лет пятнадцать прошло,
и верхушка в окно к нам стучится,
ничего себе карлик,
ведь, всё-таки, третий этаж...

Судьба

Эти двое стояли в проходе
на лестничной клетке,
за окном нависал
весь в сосульках намерзших карниз,
от окна на полу
отсветилась оконная сетка,
и вся тень переплёта
сползала по лестнице вниз.

Разговор оживлённый,
и даже улыбки на лицах,

крепко руки пожали,
и каждый пошёл, кто куда:
кто-то – вверх, кто-то – вниз...
Им бы чуточку поторопиться:
никогда ведь не знаешь,
откуда придётся беда...

Рама рухнула вдруг
на площадку без всякой причины.
Стёкла вдребезги, грохот,
и стенка зияет дырой...
Ошалело стоят
ущевшие чудом мужчины,
чуть повыше от рамы – один,
чуть пониже – второй...

Корабельные крысы

Все моряки довольно суеверны,
у каждого набор своих примет,
а тут – примета, что вернее верных:
на судне ни единой крысы нет!
Проверили и кубрик, и каюты,
по трюмам и по камбузу прошлись..
Слух пролетел
буквально за минуты –
на корабле не оказалось крыс!

Матросы с корабля
списались споро,
а офицеры нервничали, но...
пришла команда нового набора,
и сухогруз поставлен под зерно.
И где-то там, в штормящем океане,
он затонул с командой внутри...
Никто не мог об этом знать заранее,
а крысы – знали, что ни говори...

Названная сестрёнка

(неотправленное письмо)

Шалом, Тамара, как твои дела?
Лет пятьдесят
последней нашей встрече.
Здоровья нет, и молодость ушла,
и словно что-то давит мне на плечи.

И всё же, я надеюсь, ты жива.
Ты, может быть, прабабушка, не знаю,
но на бумагу просятся слова,
студенческие годы вспоминая.

А помнишь, Вася, Толя, ты и я –
друг друга мы, шутя, ослиами звали,
тебя – сестрёнкой (выдумка моя),
тебя обидеть мы могли едва ли.

Твоя любовь – Володя, кореш наш,
да только в ней не оказалось смысла,
ты матери попалась на шантаж,
она решила – за того и вышла.

Где ты теперь, сестрёнка, как ты есть?
Нас с Васей разнесла судьба по свету,
в Сибири он, а я – на Ближнем, здесь,
а Толика давно на свете нету.

Мы с Васькой иногда
хоть держим связь,
хоть раз в полгода – живы, ну и ладно,
а ты от нас совсем оторвалась,
и жалко, и обидно, и досадно.

Я верю, ты живёшь, должна ты жить,
ведь ты была такой неповторимой,

четвёрке нашей навсегда дружить
в воспоминаньях
трепетного Крыма.

Как жаль,
ты не увидишь этих строк,
а я уж и надеяться не буду...
Земля Святая, всех чудес исток,
пока мы живы, сотвори нам чудо!

Корни

Я бишкекчанин,
я там долго прожил.
Остался звук закрывшихся дверей,
остались там следы
от детских ножек
моих давно уж взрослых дочерей.

Но нет, я, всё-таки, феодосиец.
Мои там корни – в этом спору нет.
Родился там, тогда ещё в России,
тому назад уже так много лет...

Нет, всё-таки, наверно, я ашдодец,
здесь глубь корней народа моего.
В тысячелетях выкопан колодец –
там где-то корень, поищи его...

